

Николай Николаевич Алексеев

Игра судьбы



Николай Алексеев

Игра судьбы

«Public Domain»

1899

Алексеев Н. Н.

Игра судьбы / Н. Н. Алексеев — «Public Domain», 1899

«В знойный, ясный июльский день 1768 года, по Луговой улице (ныне Морская), что прилегала к Невскому проспекту в Санкт-Петербурге, часу в третьем дня, медленно двигалась огромная карета очень неказистого вида. Она вся вздрагивала, скрипела и звенела гайками при каждом толчке; казалось, вот-вот развалится допотопный экипаж; всюду виднелись какие-то веревочки и ремешки. Наверху ее были грудой навалены сундуки, ларцы и корзины самых разнообразных форм; позади, на особом плетеном сиденье, похожем на мешок из веревок, сидел парнишка лет пятнадцати и, разинув рот, поглядывал по сторонам...»

© Алексеев Н. Н., 1899

© Public Domain, 1899

Содержание

I	5
II	7
III	11
IV	15
V	19
VI	26
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Алексеев Николай Николаевич

Игра судьбы

I

В знойный, ясный июльский день 1768 года, по Луговой улице (ныне Морская), что прилежала к Невскому проспекту в Санкт-Петербурге, часу в третьем дня, медленно двигалась огромная карета очень неказистого вида. Она вся вздрагивала, скрипела и звенела гайками при каждом толчке; казалось, вот-вот развалится допотопный экипаж; всюду виднелись какие-то веревочки и ремешки. Наверху ее были грудой навалены сундуки, ларцы и корзины самых разнообразных форм; позади, на особом плетеном сиденье, похожем на мешок из веревок, сидел парнишка лет пятнадцати и, разинув рот, поглядывал по сторонам.

Экипаж был запряжен тройкой мохнатых, мелких, разномастных и грязных кляч. Ими правил, чуть шевеля вожжами, здоровенный детина, одетый, несмотря на жару, в овчинный кожух и черный меховой треух.

Улица была полна движения. Чинно прогуливались молодые девушки в сопровождении медлительных папаш и мамаш, затянутые в рюмочку, в огромных шляпах, представлявших собой целые сады и вавилонские башни; переглядываясь с ними, бродили статские щеголи в цветных фраках, кафтанах, ярких камзолах, лосиных панталонах, ботфортах, шелковых чулках, в башмаках с серебряными пряжками и высокими каблуками. Сновали сердцееды-гвардейцы, алея красными отворотами мундиров; изредка мелькала скромная синяя шинель армейского пехотинца. Проносились кареты вельмож, запряженные цугом несколькими парами великолепных коней; скакали конногвардейцы и гусары, щеголяя друг перед другом и конями, и ловкостью посадки.

Из кареты выглянула голова старика, прикрытая несуразной шапкой.

– Эй, милый человек! – крикнул он глазевшему на диковинный экипаж человеку в мещанском кафтане. – Не знаешь ли, любезнейший, где здесь дом его превосходительства Андрея Григорьевича Свияжского?

– Свияжского? А вот этот самый и будет, – ответил мещанин, указывая на высившийся наискось двухэтажный дом, построенный в кричащем стиле того времени.

– Спасибо, любезный! Прощка! Слышь, правь туда! – крикнул старик, и его голова снова скрылась во тьму кареты. – Слава Богу, добрались, – промолвил он, обращаясь к сидевшему против него молодому человеку. – Ну вот, сейчас и с дяденькой свидишься, Александр Васильевич. Ты только не робей. Сперва поклон выправь как следует, а потом и письмецо подай. Лицом в грязь, чай, не ударишь: недаром тятенька французского немца три года для манер держали.

Юноша, видимо, волновался. По его лицу шли красные пятна, дрожащими пальцами он нервно расправлял складки одежды.

– Стой, Прощка! – крикнул старик, когда карета поровнялась с подъездом. – Ну, Господи благослови!

– Страшно, Михайлыч! – прошептал юноша.

– Ну чего же страшно? Не к чужим, к своим приехал. – Старик открыл дверцу, вышел сам и сказал: – Пожалуй, Александр Васильевич.

Молодой человек выпрыгнул из экипажа и на минуту остановился. Он был высокого роста, широкоплечий, со свежим, красивым лицом. Усы чуть намечались, голубые глаза смотрели застенчиво, в движениях чувствовалась юношеская неловкость. Его одежда оставляла желать многого. На голове красовалась старенькая шляпа с приподнятыми с трех сторон

полями; кафтан и панталоны были из грубого сукна, на ногах были надеты белые толстые шерстяные чулки и тяжелые башмаки с медными пряжками.

– Иди же, Александр Васильевич, не бойся! – шепнул Михайлыч.

Юноша быстро вошел в двери подъезда, лениво распахнутые рослым, надменным гайдуком в пудреном парике и красном кафтане, обшитом серебряным позументом. Этот привратник с ног до головы окинул вошедшего насмешливо-презрительным взглядом и процедил:

– Вам что надо?

– Здесь живет его превосходительство Андрей Григорьевич Свияжский? – робко спросил Александр Васильевич.

– Здесь. А что?

– Племянник я его, так вот повидаться.

Выражение лица гайдука при слове «племянник» разом изменилось в почтительное.

– Прикажете доложить, ваша милость? – сладко проговорил он.

– Да, доложи. Скажи, что племянник его превосходительства, Александр Васильевич Кисельников, из-под Елизаветграда приехал.

– Слушаю! – И гайдук тотчас же крикнул дежурному казачку: – Беги скорей! Слышь, как их милость сказывали? Мигом доложи!

В ожидании казачка Александр Васильевич медленно прохаживался по вестибюлю и посматривал на свое изображение в большом, украшенном бронзой, зеркале.

«Боже мой! На кого я похож! – в смущении думал он, поскольку казался себе неуклюжим мужиком. Лицо грубое, заторелое, руки с огромными красными кистями, торчат, словно прилепленные не к месту. Тут же рядом мелькнуло в мозгу: – А Полинька говорила, что я красивый».

При воспоминании о Полиньке теплая волна обдала сердце юноши, и перед его мысленным взором пронеслись миловидное личико в волне золотистых волос, тонкая, стройная фигура.

Полинька была дочерью соседа его отца по имению.

– Как далеко она теперь отсюда, как далеко! – вздохнул юноша и вздрогнул.

– Пожалуйте, ваша милость! – послышался голос казачка. – Приказали просить.

С замирающим сердцем стал подниматься Кисельников по лестнице.

На площадке в бельэтаже его встретил ливрейный лакей, низко поклонился и, бесшумно распахнув перед ним двери, повел через ряд комнат к кабинету хозяина.

Александр Васильевич посматривал кругом и все более робел: картины, статуи, обои золоченой кожи, ковры, огромные зеркала, украшенная тонкой чеканки бронзой мебель розового и красного дерева – все невиданная им раньше роскошь. Ему казалось, что все это он видит во сне, и, следуя за лакеем, он краснел, пытел и потирал вспотевшие ладони.

Но вот лакей, раскрыв одну из дверей, провозгласил, отодвинувшись в сторону, чтобы дать дорогу гостю:

– Господин Александр Васильевич Кисельников.

Юноша шагнул через порог, весь похолодев, и... очутился перед «дядей».

II

«Дядин» кабинет представлял собой большую и довольно-таки унылую комнату. Угрюмые шкафы с книгами, темные занавески, кожаная обивка стульев с прямыми спинками. Ото всего веяло чем-то сухим, жестким. Чувствовалось, что среди этой обстановки не могла прозвучать остроумная, полная юмора и задора фраза, прокатиться сверкающим бисером молодой, беззаботный смех, раздастся песня. Здесь было место расчетливости, размеренности и... душевного холода.

В высоком резном кресле у письменного стола, на котором были аккуратно разложены какие-то толстые книги и пачки бумаг в синих обложках, вполоборота к вошедшему Кисельникову сидел сухой старик, бритый, в маленьком пудренном парике с туго подвитыми буклями, чистенький, гладенький. Синий бархатный кафтан сидел без морщинки, орденская звезда была лишь настолько выставлена из-под отворота, чтобы не очень бросаться в глаза, алансонские кружева на манжетах были белоснежно чисты и не измяты, косица парика лежала как раз между лопаток. На его лице морщинки улеглись аккуратной сетью, ни глубокие, ни мелкие, а самые приличные. На тонких губах играла улыбка; она никогда не покидала лица, словно старичок и родился с нею. Глубоко запавшие блекло-голубые глаза он чуть-чуть насмешливо щурил, но взгляд был открыт и добродушен.

Кроме старика, в кабинете сидел в кресле, задумчиво подперев голову, молодой офицер-гвардеец; в чертах его лица было некоторое сходство с Андреем Григорьевичем Свияжским, но что-то мягкое и грустное сквозило в них.

– Василий, – крикнул Андрей Григорьевич лакею, докладывавшему о Кисельникове, – кликни-ка ко мне казачка Сеньку! – Александра Васильевича он словно не заметил и за все время, пока лакей ходил за казачком, не повернул к нему головы, а, щелкая крышкой золотой табакерки, с наслаждением делал понюшку за понюшкой, приговаривая: – Ой, знатно! До слез прошибает.

Юноша неловко переминался у двери, не зная, что ему делать. Молодой офицер с участием смотрел на него. Наконец казачок явился.

– Я тебе велел сказать, чтобы они подождали с часок, а ты сразу позвал, – проговорил Свияжский, вперив тусклый взгляд в побледневшее лицо мальчика. – Разве так исполняют господские приказы?

– Да я... Ваше превосходительство... Да я, барин... – залепетал дрожащим голосом казачок.

– Врешь: ты – не ваше превосходительство, ты и не барин, хе-хе! Помни одно: самим Господом Богом указано быть на земле господам и рабам: первым и надлежит приказывать, вторым – точно и неуклонно исполнять господские приказы. Кто не исполняет этого, с того взыщется, а тем сильнее взыщется с господина, который потворствует нерадивости своего раба. Так-то! Поди, миленький, – добавил он, – скажи Кузьме, что я тебя прислал.

– Ваше превосходительство! Смилуйтесь!.. – завопил мальчик, кинувшись в ноги Андрею Григорьевичу. – Простите! Никогда больше не буду.

– Что ты, что ты, дурачок? Встань! – добродушно промолвил Свияжский. – Только перед Богом колена преклонять подобает. Встань, дурачок. А простить как же можно? Ведь ты прощтрафился? Да? Ну, так если бы я простил тебя, то взял бы грех на душу. Ступай, ступай, миленький, к Кузьме, да скажи, чтобы хорошенько... Скажи, что барин из кабинета слушать будет. Ну, иди с Богом!

«Что это за Кузьма?» – недоумевал Кисельников, с удивлением прислушиваясь к этой беседе, а впоследствии узнал, что Кузьма исполнял у Свияжского роль, так сказать, палача: все экзекуции производил он.

Мальчик, плача, вышел.

– Что же ты стал там, любезнейший? – удостоил наконец старик заметить и Александра Васильевича. – Поди поближе, дай на тебя посмотреть, дружок!

Кисельников, стуча каблуками тяжелых башмаков, неловко приблизился и поклонился. Свяжский, окидывая его внимательным взглядом, продолжал:

– Здравствуй, дорогой! Так из-под Елизаветграда? Так-так... Василия Васильевича сынок? Богатырь, красавчик, молодчина... А только почему тебе вздумалось племянником моим назваться, понять не могу: я такой же тебе дядя, как, хе-хе, и китайский император. Письмо, кажется, у тебя? Давай, давай, прочтем.

– Велели вашему превосходительству низко кланяться и передать письмо... Сказать, что они всегда... О вашем превосходительстве... Шлют низкий поклон... – бормотал весь красный, как вареный рак, Александр Васильевич.

Под его несвязные фразы старик не спеша достал очки, надел их, вскрыл пакет и, старательно расправив на столе листок, стал читать вполголоса:

«Милостивый государь, Ваше Превосходительство, предражайший друг, однокашник и любезнейший братец. – Тут Свяжский хмыкнул и пожал плечами. – Андрей Григорьевич! В добром ли Вы здравии, Ваше Превосходительство, обретаетесь и в полном ли благополучии, о чем я непрестанно молюсь? А я ничего себе, жив, здоров и счастлив, сколь можно быть при моем сиротском, вдовецком положении. Дочку Аннушку за судейского казначея выдал я, и живет она теперь в Москве, а сына моего, как сами Вы, Ваше Превосходительство, соизволите увидеть, вытянуло без малого в коломенскую версту. Входит мой Сашка в возраст, и нечего ему без дела шататься, потому что от безделья только всякая дурь да блажь в голову ползет...»

– Верно старик пишет! – одобрил Свяжский. – У тебя отец – парень с головой, – добавил он, обращаясь к Александру Васильевичу, а потом продолжал:

«Пора ему послужить государыне да отечеству, а как мы дворянского рода, а не подлого состояния, то приличествует ему всего более служба воинская, тем паче, что к сему званию мы его от малых лет в мыслях своих приготавливали, чего ради и был он на десятом году записан унтер-офицером в пехотный ингерманландский полк. Но многолюбяще отцовское сердце, и честь сыновью всякий отец, почитай, превыше своей собственной ценит; посему и надумал я кое-что, о сем же и Ваше Превосходительство своей предерзостной, но для отца извинительной просьбой утрудить беру великую смелость...»

В это время Андрей Григорьевич примолк и насторожился. Откуда-то издали, с другого конца дома, доносились жалобные детские вопли.

– Кузьма с Сенькой расправляется! Так, так! Жарь его, жарь его! – пробормотал старик Свяжский, и какое-то хищно-сладострастное выражение появилось на его лице.

Офицер, до сих пор молчавший и только куривший трубку за трубкой, порывисто вскочил с места и воскликнул:

– Хоть бы при мне ты, отец, воздержался! Ведь это – гадость, мерзость!

– При тебе? – ехидно посмеиваясь, сказал старик Свяжский. – Да кто ты такой, что при тебе я не могу делать, что хочу? Накажу я раба лукавого, свершаю долг свой и буду оный свершать, и никакие молокососы мне в сем помехой быть не смеют.

Сын прошелся по комнате и со вздохом сел на прежнее место. Между тем старик опять принялся за письмо:

«Будучи при последней ревизии в елизаветградской провинции, Ваше Превосходительство, сделавши мне честь остановиться в моем убогом домишке, вспоминая годы юности нашей и кадетские проказы, изволили выразиться так: „Ты, Василий, уверен будь, что, ежели я когда чем могу тебе помочь, всегда помогу, потому мы – однокашники, а я старых приятелей не забываю“. Сии милостивые слова Ваши и дают мне надежду на исполнение моей просьбишки. Больно мне очень, что такой парень, как Сашка, обученный не только мараковать по-фран-

цузски, но даже и танцам, для чего три года французишку у себя в доме кормил, будет зря пропадать в армейщине. В гвардии он был бы на примете и, может быть, в люди бы вышел. В том и прошение мое: сделайте милость однокашнику Вашего Превосходительства и по родству поспособствуйте к определению моего сына Сашки в гвардейский полк, хотя бы рядовым...»

– Все в гвардию лезут! А кто же в армии будет служить? – проворчал старик, а затем продолжил чтение письма:

«А я за такое благодеяние Ваше буду Бога за Вас молить неустанно. А второе, прошу Вас, как приятеля и родственника, приглядите за Сашкой, приютите его, яко голубь птенца под крылом. Петербург – город столичный, долго ли молодому юноше запутаться; а под Вашим кровом и дозором ничему, кроме добродетелей, он не может научиться. А за сим, заранее принося благодарность ото всей глубины сердца и моля Бога, чтобы ниспослал Он Вам многие и радостные годы, имею честь быть Вашего Превосходительства однокашник, приятель, любящий брат и вернейший раб, отставной капитан и кавалер Василий Иванов сын Кисельников».

Свияжский медленно сложил письмо, бросил его в ящик письменного стола и, пожав плечами, сказал:

– Не могу не подивиться просьбе твоего отца. Он – человек почтенный, слов нет, но... Да ты сядь, устанешь, дружок, стоять-то.

Александр Васильевич, до сих пор переминавшийся с ноги на ногу, неловко присел на край стула.

– Теперь слушай меня хорошенько, ангельчик, – продолжал старик. – Во-первых, запомни хорошенько, как я уже говорил, что я тебе такой же дядя, как и китайский император, хе-хе. Твоему отцу с чего-то вздумалось меня даже братцем называть. Диву подобно! И все это отчего? Да только от того, что троюродная сестра моей первой жены, покойница, всю кашу заварила. Да нет, ты примечай: даже не моя троюродная сестра, а моей первой жены, вышла за двоюродного дядю твоего отца. Да и дядя-то был с материнской стороны. Вот и все наше родство. Близкое – хе-хе! – а? Ну да ладно, будет. Все же мне твой отец хоть и не родственник, а действительно однокашник по шляхетскому корпусу¹, вместе мы и науки зубрили, вместе и проказили. Я рад ему сделать все, что могу. А что я могу? Отец просит, чтобы я похлопотал о тебе насчет гвардии. Сколько у твоего отца крестьян?

– Душ пятьдесят, – ответил Кисельников.

Старик присвистнул и рассмеялся.

– Душ пятьдесят, хе-хе! И ты хочешь служить в гвардии? Было бы у тебя не полсотни, а две сотни, и того мало по гвардейским расходам. Так вот, что я могу сделать – это дать совет как приятель и однокашник Василия Ивановича: не лезь ты в гвардию, и думать о ней забудь, не с твоим карманом, братец! Спроси-ка ты меня, чего мне вот этот гвардеец стоит? – мотнул он головой в сторону сына. – Прорву деньжищ. Поступай-ка ты пехтурой в армию и служи матушке государыне верой-правдой. А так как тебе возвращаться в свой полк в Елизаветград далековато, то можешь здесь в каком-нибудь пристроиться, и живой рукой в офицеры выйдешь. Потом просит твой отец, чтобы я за тобой присматривал. Ну скажи на милость, как же я сие сотворю? За тобой всюду ходить что ли? Так у меня для этого и времени нет, да и вообще... В самом деле, хе-хе, какая, подумаешь, нянька нашлась. Ведь не один, я думаю, ты приехал в Питер, есть с тобой кто-нибудь постарше?

– Дядька со мной.

– Ну и прекрасно! Эти старики – народ надежный. Он и присмотрит. А я тебе посоветую: не шляйся ты тут по всяким Иберкампфам, Шмидтам и иным кабакам. Пить да играть ты там научишься, а более ничему. Да еще и оберут, ежели на шушеру нарвешься. Да, кстати, скажи пожалуйста, где ты жить думаешь?

¹ Теперь Первый кадетский корпус в С.-Петербурге. – Здесь и далее *прим. авт.*

У юноши готово было сорваться с уст: «Батюшка надеялся, что вы у себя приютите», но он вовремя сдержался и только что-то невнятно пробормотал.

– Видишь ли, я взял бы тебя к себе жить, но, во-первых, я теперь на даче, а, во-вторых, этот дом даже и для одной моей семьи мал, так что... – Свияжский сделал печальную мину и развел руками. – Да у нас в Питере помещенье найти нетрудно, хе-хе! Жильцам рады-радешеньки. Поищи на Миллионной, там есть.

С улицы донеслись со стороны подъезда топот лошадей и шум колес.

– А! Лошадей подали, – сказал Андрей Григорьевич, встав и смотря на часы-луковицу. – Мне пора ехать. Я ведь живу теперь на даче, в Петергофе. Прощай, милейший!

Он протянул Кисельникову два пальца. Потом посмотрел на него и подумал:

«Разве показать нашим этого монстра? По крайней мере, посмеемся».

– Ты вот что: как-нибудь приезжай ко мне на дачу. Найти ее легко: там меня все знают. Сыну моего приятеля всегда рад, всегда, – проговорил старик и кивком головы дал понять, что аудиенция окончена.

Александр Васильевич поклонился и пошел к двери.

– А ты, Николай, разве не собираешься со мною? – между тем спросил старик молодого офицера.

– Нет, у меня в городе дело есть. Да я, кстати, и пойду сейчас. Прощайте, папа. Поклон маман и сестре, – проговорил сын, холодно целуя костлявую отцовскую руку.

Со стесненным сердцем спускался по лестнице Кисельников. Несмотря на всю свою наивность и неопытность, он понял, что «дяденька» не захотел и пальцем шевельнуть для него и попросту отпустил ни с чем.

– Погодите! – окликнули его сверху.

Кисельников оглянулся. По лестнице торопливо спускался юный гвардеец, которого он видел в кабинете Свияжского.

– Познакомимся, – сказал офицер. – Николай Андреевич Свияжский.

Молодые люди пожали друг другу руки.

– Вас нельзя так оставить. Вы в нашем Питере будете что в лесу, – продолжал новый знакомый, спускаясь вместе с Александром Васильевичем. – Отцу... некогда, ну так я за вас примусь. Я вас устрою, положитесь на меня. Прежде всего позаботимся о помещении.

Они вместе вышли на улицу.

– Я вас свезу к моему приятелю, – продолжал молодой Свияжский, а потом, видя, что Александр Васильевич направляется к своему допотопному экипажу, с улыбкой заметил: – Нет, только не в этой карете. Садитесь-ка лучше сюда! – Он взобрался на извозничьи дрожки-гитару и, сказав куда ехать, крикнул: – Ну, живей!

И возчик стал неистово нахлестывать клячонку. Экипаж Кисельникова с выглядывающим в окно недоумевающим Михайлычем, громыхая и звеня гайками, поехал за ними.

III

– Вы в первый раз в столице, это сейчас видно, – сказал Николай Андреевич, трясаясь с Кисельниковым на дрожжах – экипаже, сказать к слову, крайне неудобном. – Вам ко многому надо приглядеться, приучиться, переделать себя. Простите, что я говорю это вам так прямо, едва познакомившись, но ведь вы не обидитесь, надеюсь?

– За что же обижаться? Вы вполне правы. Столичные порядки эти и прочее... Шагу ступить не умею.

– Я слышал ваш разговор с моим отцом, а также письмо вашего батюшки. У бедного старика, конечно, за вас сердце болит. Скажу прямо: вы мне очень понравились. Если мой отец не может ничего для вас сделать, то постараюсь я. Нельзя же в самом деле бросать на произвол судьбы человека, приехавшего из-за тысячи верст. Будьте спокойны: вы во мне найдете преданнейшего друга. – Свяжский помолчал минуту, а потом продолжал иным тоном: – Вы – провинциал и не знаете, какое значение придают в нашем столичном обществе костюму, наружности, манерам. Право, очень многие от того лишь и были замечены и пошли в ход, что умели одеваться со вкусом и обладали изящными манерами. Мой приятель, к которому мы теперь едем, камер-юнкер, Петр Семенович Лавишев, вам во многом поможет в этом отношении. Человек он очень богатый, очень добрый, хороший товарищ. Он вас, так сказать, воспитает в светском отношении. Лавишев совершенно одинок, а занимает целый дом-дворец. Он вам может отвести хоть целый этаж.

– Мне, право, совестно. Как же так – у чужого человека?

– Совестно жить у Лавишева? – воскликнул юный офицер. – Фью! Вы его не знаете: он – всем родня. Вот мы и приехали. Стой!

Возница остановился у подъезда большого роскошного дома на Вознесенском проспекте.

Вскоре новые приятели поднимались по широкой мраморной лестнице, устланной коврами и украшенной по стенам тропическими растениями.

– Что, Петр Семенович принимает? – спросил Свяжский у встретившего их лакея.

– Они недавно изволили встать, и теперь Силантий их бреет.

Заметив удивление на лице Кисельникова, Николай Андреевич с улыбкой промолвил:

– Как видите, мы живем не по-вашему: когда у вас вечер, у нас только что начинается день. Пойдемте, авось мы не помешаем Лавишеву справлять свой туалет. Доложи, – приказал он лакею. – Да пусть он не спешит, у нас время есть. Мы подождем в гостиной.

Молодые люди прошли целый ряд комнат. Всюду были позолота, ковры, дорогая бронза, но чувствовалось что-то запущенное, заброшенное во всей этой роскоши. Видно было, что хозяйский глаз редко заглядывал сюда. На золоченых стульях в прекрасном белом зале слоями лежала пыль, она же покрывала голову мраморного Аполлона превосходной работы, по углам виднелась густая паутина. Халатность, запущенность сказывалась даже во внешности прислуги. В гостиной, как в комнате более посещаемой, было почище, но великолепная мебель была расставлена беспорядочно, а картины висели криво и вкось.

– Присядем здесь и подождем. Вероятно, он скоро выйдет, – сказал Николай Андреевич, сев в кресло и пододвигая к себе сборник старинных немецких гравюр.

Кисельников принялся рассказывать по гостиной, рассматривая картины.

«Все выходит совсем-совсем не так, как мы с отцом предполагали, – думал он. – Вместо Свяжских я очутился вот где, да чуть ли не здесь и поселюсь. Чудно! А гвардия-то моя все же, кажется, тютю».

Словно в ответ на его мысли раздался голос до сих пор молча рассматривавшего гравюры юного Свяжского:

– Знаете, что хотел бы я вам посоветовать? Не старайтесь вы поступать в гвардию. Мой отец прав: для службы в ней нужны очень крупные средства. Без них вы не будете равным с товарищами. Да и кроме того, настоящая служба в армии, а в гвардии – больше забава. Кто хочет быть настоящим военным, тот должен пройти через армейскую лямку. Если вы согласитесь служить в армии, мы вас живо устроим: через несколько недель будете офицером. Я и сам перешел бы в армию, если бы отец...

В этот момент в дверях появился мужчина лет тридцати: среднего роста, стройный, с красивым, добродушным лицом. Щеки у него были слегка подрумянены, брови подведены; на нем были голубой шелковый фрак, белый камзол с украшенными бриллиантовыми «розами» золотыми мелкими пуговицами, синие бархатные панталоны в обтяжку, белые шелковые чулки и легкие башмаки синего сафьяна с высокими красными каблуками и золотыми пряжками. В левой руке он держал огромный черепаховый лорнет, правой посылал воздушные поцелуи Николаю Андреевичу.

– Долго ждал, а? Что давно не заглядывал? А мы вчера у Винклерши всю ночь в фараона² жарили. И, представь, я выиграл! – заговорил Лавишев, облобызавшись с Николаем Андреевичем и поклонившись Кисельникову.

– Занят был. А у меня к тебе, Петр, дельце есть.

Лицо Петра Семеновича приняло скучающее выражение.

– Терпеть не могу дел!

– Да это не трудное. Пойдем немножко пошептаться.

Свияжский отвел приятеля в дальний угол и стал говорить ему про Александра Васильевича. До Кисельникова долетали восклицания Лавишева: «Конечно! Отчего же нет? С величайшим удовольствием! Что, мне жалко, что ли? Все равно комнаты стоят пустыми. Обучим, обучим».

По окончании переговоров Свияжский, лицо которого сияло удовольствием, познакомил Кисельникова с Лавишевым.

– Вот он самый и есть тот провинциал, о котором я тебе сейчас говорил, – сказал он, обращаясь к Петру Семеновичу. – Александр Васильевич Кисельников, Надо из него сделать столичного жителя.

– Сделаем. Это нетрудно. Ведь вы не из обидчивых?

– Ой, нет! – помолвил юноша.

– Тогда и дело в шляпе. Пока что распорядимся! – Лавишев дернул шнурок звонка и сказал вбежавшему лакею: – Приготовь-ка третий этаж, почишь и прочее... Вот этот господин займет его. Я вас прошу, Александр Васильевич, остановиться у меня, сделайте мне честь. Туда снесешь и их вещи! – снова сказал он лакею. – Людей их и лошадей накормить. Одним словом, распорядитесь, чтобы все было как следует. Да поживей. Ступай!

– Благодарю вас, – с поклоном проговорил Кисельников по уходе лакея.

– Позвольте, кто вас учил так кланяться?

– Мой отец три года француза для манер держал, – не без гордости сказал Александр Васильевич.

– Верно ваш француз был из цирюльников. Разве так кланяются? Надо вот как. – И Лавишев сделал изящный поклон по всем правилам искусства того времени. – А ну-ка, повторите, – предложил он юноше.

Кисельников, красный от смущения, неловко поклонился, подражая Лавишеву.

– Ничего, привыкнете. А выньте-ка платок...

Вынимать и развертывать с шиком пестрый фуляр было одним из условий светскости. В движении Александра Васильевича, разумеется, никакого шика не оказалось. Лавишев и

² Карточная игра.

в этом наставил его, а затем стал заставлять его повернуться, надеть и снять шляпу, сделать поклон и т. д.; одним словом, усердно муштровал юного провинциала.

– Из него будет толк, Николай, – наконец сказал он Свяжскому, с улыбкой наблюдавшему за «уроком». – А теперь я хочу ку-у-шать, ку-у-шать, – протянул он нараспев, как капризный ребенок. – Я еще не фриштыкал³. Каково, а? Едемте к Иберкампфу поесть.

– А не лучше ли к Гантоверу? – проговорил Николай Андреевич.

Лавишев комично поклонился.

– Благодарю! Я еще не хочу умирать с голоду. Что мы найдем у твоего Гантовера? Нет, к Иберкампфу, и никаких. У вас есть запасное платье? – внезапно обратился он к Кисельникову. – Впрочем, если и есть, то сшито по провинциальной моде; следовательно, не годится. Мы с вами почти одного роста. Не побрезгуйте, наденьте мое. Вам пойдет красный фрак; я его только один раз надевал. Заметьте, у меня правило: никогда не надевать дважды одного и того же костюма. Согласны? Григорий, Григорий! – крикнул Лавишев, дергая в то же время шнурок звонка. Лакей вбежал как ошалелый. – Проведи их милость в мой кабинет и помоги одеться, – приказал хозяин. – Возьми мой красный фрак, лосины, ботфорты... Одним словом, третьего дня я надевал. Маленький парик достань для них... Знаешь, что из Парижа прислан. Букли, смотри, вели завить потуже. Ну, иди! Александр Васильевич, он вас живо оденет. А мы пока, Коля, пойдем посмотреть моего нового «араба». Я тебе скажу, не лошадь, а огонь. Да вот сам увидишь.

Кисельников пошел вслед за лакеем, а Свяжский и хозяин отправились посмотреть нового «араба».

– Издалече изволили приехать, ваша милость? – спросил лакей, помогая Александру Васильевичу одеваться.

– Из-под Елизаветграда.

– Не слыхал о таком месте; должно, далече. Позвольте, ваша милость, я вам кружавчики оправлю. А, небось, хорошо теперь там-то, в ваших местах: цветы и всякое произрастание. Не то, что здесь. У нас жизнь столичная.

– А что же, хотел бы ты в деревню?

– Ну, этого не скажу. Потому там что же? Хлеб, квас да маята. Здесь мы и сыты, и прочее... Дозвольте камзольчик застегну. А паричок как раз по вас. Очень, доложу вам, фрак этот идет вашей милости и сидит без морщинки. Косица прямо ль лежит? Так, совсем все как следует.

Выйдя по окончании переодевания в гостиную, Александр Васильевич не застал в ней никого: очевидно, приятели все еще любовались «арабом». Молодой человек воспользовался этим временем, чтобы взглянуть на отведенное ему Лавишевым помещение. Поднявшись на третий этаж, он застал там хлопотавшего Михайлыча. У старика глаза были мутны, щеки сильно порозовели.

– Александр Васильевич! – воскликнул он, всплеснув руками как-то уж со слишком большим жаром. – Да тебя, право, не узнать. Совсем фон-барон. Н-да! Питер – это, я тебе скажу, штука. Однако в какой мы дом, то есть, попали? Куда, скажи, сделай милость, нам этикие палаты? Десять комнат! И везде мебель, везде... И даже эта самая музыка. Пальцем ткнешь – играет. А только пылищи! Н-ну... Порядки здесь вообще... особенные порядки. Приехали – перво-наперво по шкалику анисовой. Хорошая водка, что говорить, Прощка у коней так и завалился.

– Как у коней? Что такое?

– Ну да. Пошел им овса насыпать, упал между коников и захрапел. Я уж его и не будил – пусть спит. Сам овса засыпал. Надо правду сказать – всего вволю. А только бестолочь такая,

³ Закусывать до обеда, завтракать. – Прим. ред.

что... ну-ну! Приехали мы, чего уж говорить, голоднехоньки. Ну нас сейчас честь-честью: «Есть хотите? Пожалте!». Анисовки это, того-сего...

– Простой водки не подавали?

– Как не подавали? Под-давали. И даже очень. Едим-едим... Все какие-то пичужки, телятина и вообще фрухты... Спрашиваю: «А когда ж, братцы, щи-то?» – А они как фыркнут. «У нас, – говорят, – щей не водится, да после бекасов (такое слово надо ж выдумать: бекасы!) щи и не к месту. Не хочешь ли зуппу⁴?». Попробовал – водица с крупой, однако, съел. После наливкой запили и какую-то пастилу к ней давали.

Старика заметно качнуло.

– А наливки-то, видно, Михайлыч, ты порядочно выпил? – укоризненно произнес Кисельников. – А я еще надеялся на тебя, Михайлыч!

– И можно надеяться. Глянь, постели устроил. Твоя – там, моя – здесь.

– Мягкая у тебя постель? Да, кажется, коротка тебе?

– Зачем коротка? Гляди! – И старик, забравшись на устроенное им ложе из дорожных пуховиков и тулупов, чуть не с головой ушел в мягкие подушки. – Хор-ро-шо, – с наслаждением потягиваясь, сказал он.

– Ты полежи, а я сейчас приду, – промолвил Александр Васильевич, и ушел, оставив своего верного дядьку сладко дремлющим на мягком ложе.

В гостиной Кисельникова дожидались Свяжский и Лавишев.

– Куда вы запропастились? – спросил последний. – Я думаю, что у Иберкампа уже тьма народа. Фрак на вас – что влитой. Едем, господа! Григорий! Лошади поданы?

– Поданы, – издали откликнулся лакей.

– Трогаемся: голод – не тетка. Меня ждет фриштык, фри-иш-тык! О, блаженство!

Лавишев что-то засвистел, и предводимые им Свяжский и Кисельников пошли через анфиладу комнат к выходу.

У подъезда ждала чудная английская коляска, запряженная парным цугом четверьмя белоснежными жеребцами в сбруе с посеребренными бляхами, со сверкающими блестками султанчиками из перьев над холками.

Усевшись в экипаж, Петр Семенович коротко крикнул кучеру: «К Иберкампу!». Возница не переспросил, ему было хорошо известно это злчное место веселящихся петербуржцев того времени.

⁴ Суп.

IV

Можно было подумать, что у Лавишева полный город знакомых: он то и дело снимал свою вощанковую шляпу и кланялся направо и налево. Изредка его примеру следовал и молодой Свяжский. Один только Александр Васильевич сидел неподвижно, рассеянно блуждая взглядом по лицам прохожих и проезжающих, по фасадам красивых зданий. Все ему здесь было незнакомо и чуждо. Он готов был бы думать, что видит сон, если бы чужой фрак не резал под мышками, да сидевший напротив него Николай Андреевич не обращал его внимания на какую-нибудь промчавшуюся в блестящем экипаже львицу света или полусвета да не указывал на тот или другой из домов, чем-либо замечательных.

На обращенные к нему фразы спутников Кисельников отвечал коротко, улыбался, стараясь принять веселый вид, но на самом деле ему было не по себе. Чем-то фальшивым, неестественным веяло на него от всего окружающего, начиная с нарумяненных и набеленных лиц господ и барынь и кончая подстриженными деревьями вдоль Невского проспекта. Провинциал, выросший на лоне природы, не мог отдать себе ясный отчет, что, в сущности, ему не нравится: все, казалось бы, было красиво, изящно, но почему-то не лежало его сердце к этой кипевшей вокруг него жизни на новый образец.

– Тпрр! – круто осадил кучер лошадей, в тот же момент соскочивший с запяток лакей чуть не на руках вынес господ из коляски.

У Иберкампа народу собралось уже много. Большинство было своих: людей того общества, в котором вращались Свяжский и Петр Семенович. Их встретили громкими восклицаниями, наперебой приглашая к своим столикам. Однако Лавишев почему-то занял отдельный стол и с видом священнодействующего жреца начал заказывать фриштык. Он брюзжал, ворчал, что даже и у Иберкампа теперь есть нечего, учил лакея, как надо приготовить какое-то особенное, изобретенное им самим, кушанье, а когда снедь и вина были наконец выбраны, вздохнул с облегчением и, красивым движением развернув фуляр, осторожно, чтобы не стереть румян, вытер вспотевшее лицо.

Фриштыкал Лавишев так же особенно: он не ел, а смаковал кушанья, чем составлял полную противоположность Кисельникову, который как напал на пришедшееся по вкусу блюдо, так и наелся им до отвала.

Фриштыкая, Лавишев не переставал перекидываться фразами с приятелями: то не стесняясь кричал кому-то о какой-то Каролинке, честью клялся, что у нее волосы крашенные, и бился об заклад, что уличит ее; то хвастал своим новым «арабом», то восхвалял качества недавно приобретенного пса Полкашки. Свяжский, хотя и не был очень оживлен, однако тоже нашел себе много собеседников. Одному только Кисельникову не с кем было вступить в беседу. Он молчал и, ощущая на себе насмешливые взгляды окружающих его светских щеголей, сразу узнавших в нем провинциала, деревенщину, смущенно краснел и потуплял глаза.

Свяжский, случайно взглянув на часы, быстро поднялся и стал прощаться.

– Посиди. Куда спешишь? – уговаривал его Лавишев.

Но тот не сдался. Крепко пожав на прощанье руку Александру Васильевичу и сказав: «Завтра увидимся и потолкуем», он торопливо удалился.

– Что его укусило? – заметил кто-то из знакомых.

– Полагаю, что здесь виноват проказник Амур, – смеясь ответил Петр Семенович.

С уходом Свяжского Кисельникову стало еще больше не по себе. Наконец он не выдержал.

– Я тоже думаю уйти, Петр Семенович, – сказал он, вставая.

– Вы-то куда? – удивился Лавишев. – Полагаю, что амуров в Питере вы еще не успели завести?

– Хочется отдохнуть с дороги, – изобрел предлог Александр Васильевич.

– Ну, ваше дело, отдыхайте. А я вас хотел, милейший, познакомить вечером с одной во-ро-житель-ней-шей женщиной. Я вам скажу – богиня!.. Впрочем, если устали, не удерживаю. Дорогу найдете? А то возьмите моих лошадей... Стойте! Послушайте хоть Глашу: это – тоже своего рода перл.

Между столиками пробиралась, в сопровождении нескольких других женщин в пестрых платьях и мужчин в ярких вышитых куртках, молодая смуглолицая девушка с миндалевидными черными глазами, красивым, но несколько хищным профилем и с гордыми, тонкими бровями. Она шла, улыбаясь направо и налево; что-то мягкое, кошачье сквозило в движениях ее гибкого стана. Затем Глаша села в кресло посередине зала, лениво щелкнула струнами мандолины, и вдруг ударила по ним. И зарыдали, залились они страстным, бурным и томным напевом.

Из смежной комнаты, где неистово дулись в «фараон» какие-то офицеры, игроки вышли в зал, побросав карты. Публика притихла.

Все более бурно, все более тягуче страстно и томно рыдала мандолина. Вдруг огонек блеснул в глазах Глаши. Прозвучал аккорд, другой, тихо замирая, и к звуку струн присоединился человеческий голос. Глаша запела, тихо, медленно, слегка покачивая стройным станом. Голос креп, темп ускорялся. Песня бурной любви полилась неукротимой волной. Певица уже не сидела; она стояла, притопывая ножкой, и со страстной мольбой простирала руки куда-то вдаль, к кому-то неведомому, бесконечно любимому.

Вдруг ее песню подхватил хор. И могучая волна звуков, манящих к неге и страсти, вынеслась из зала на улицу. Прохожие останавливались, прислушиваясь, и многие из них различали среди могучих басов и звонких сопрано звенящий, как серебряный колокольчик, голосок Глаши.

Посетители Иберкампа показали себя истыми представителями славянской расы. Несмотря на атласные и шелковые фраки, немецкие кафтаны и расшитые камзолы, под этой иноземной, чуждой одеждой жил коренной русский дух, билось русское сердце. Запела Глаша, и куда делись солидность и чопорность «джентльменов», для которых англичанин был идеалом европейца; куда делась искусственно веселая болтовня «французов» – а таких было большинство, – готовых не пожалеть и отца родного для хорошего *mot*⁵; наконец, куда исчезла сдержанность тех господ, которые находили, что величайшая в свете нация – немцы, по той простой причине, что у них был король Фридрих Великий (они, конечно, благоразумно забывали, что если бы не скончалась императрица Елизавета Петровна и на престол не вступил бы Петр III, то не было бы не только Фридриха Великого, но и самой Пруссии, которая уже была накануне превращения в простую русскую губернию).

Песня зажгла кровь русских. Сами собой начали притопывать в такт песни ноги; зазвучали аккомпанементом – быть может, и не совсем стройным – бокалы и стаканы. Кто-то подхватил песню. За ним другой. И вдруг сотни голосов, под звон бокалов, под стук палок или удары кулаком по столу, подхватили зажигающую кровь песню.

Проходивший по улице мещанин заслушался было, а потом, натянув шапку на уши, с тяжелым вздохом пробормотал: «Баре веселятся... Д-да! Баре веселятся!». И поплелся дальше.

Зато Глаша пожинала жатву несаянью. На поставленный возле нее на стуле поднос дождем, со звонким ропотом, летели червонцы и рубли (первые преобладали). Щедрым дарителям был наградой ласковый взгляд черных глаз певицы.

И едва ли кто из бросавших деньги подумал, что каждый рубль, который он, сытый и даже пресыщенный, ничего не делающий барин, кидал зажигательной певице, был омыт слезами и кровью крепостного раба, у которого, быть может, дети пухнут от голода, когда их владыка

⁵ Слова (фр.).

веселится, расшвыривая деньги кровные, в буквальном смысле этого слова. По воле незабвенного Царя Освободителя пало и навеки исчезло позорящее Россию крепостное право, полною грудью вздохнул свободный русский народ, но в ту эпоху, к которой относится наше повествование, мало кто задумывался над ненормальностью того положения, когда небольшая, сравнительно с массой населения, группа дворян-помещиков живет на средства закабаленного, обнищавшего, стонущего под игом рабства многомиллионного народа. Легко доставались деньги барам, легко и тратились.

Общее веселье захватило и Кисельникова. Забурлила молодая кровь, неровно стала дышать грудь, и в глазах, устремленных на Глашу, блеснула страстная искорка.

От Лавишева не укрылось его волнение.

– Что, разобрало? – с улыбкой сказал он.

Юноша вспыхнул. Как будто завеса упала с его глаз. Он окинул взглядом зал: повсюду возбужденные, красные лица большей частью подвыпивших людей, под потолком нависло облако табачного дыма. Розовый свет вечернего солнца падал на кривлявшуюся Глашу, блеснул на мишуре наряда, заставлял безобразными нашлепками выступать румяна на щеках красотки. Что-то гадкое было в картине этого веселья, что-то поддельное, неестественное. Тяжело и смутно стало вдруг на душе молодого провинциала; червячок совести шевельнулся в глубине его чистой души, как будто он сделал что-то нехорошее, недостойное. Его потянуло вон из этого шумного, веселящегося общества.

– Ну, я пойду, – сказал он, а затем быстро пожал руку Лавишеву, взглянувшему на него с удивлением, и пробрался между столиками к выходу.

– Кто это? – играя лорнетом, спросил Петра Семеновича какой-то юный щеголь.

– Приезжий. Совершенно не светский человек, деревенский медвежонок, которого надо обломать. Немножко чудаковатый парень, – ответил Лавишев и, завязав веселый разговор на какую-то пикантную тему, вскоре забыл и думать о Кисельникове.

Между тем Александр Васильевич быстро шел к дому Лавишева. Дорогу он хорошо запомнил и не боялся сбиться. Во фраке он чувствовал себя неловко среди прохожих; непривычная одежда стесняла его; ему казалось, что все на него смотрят, что он донельзя смешон в этом щегольском наряде, хотя на самом деле ничего подобного не было.

Придя в свое жилище, столь неожиданно обретенное им, Кисельников нашел Михайлыча по-прежнему крепко спящим. Неприветливой, неудобной показалась юноше анфилада огромных комнат, уставленных роскошной, но запыленной мебелью. Было что-то нежилое в этих барских покоях. Шаги Александра Васильевича гулко отдавались. Громкий храп Михайлыча разносился по всему этажу: только он и нарушал мертвую, тоскливую тишину.

Юный провинциал отыскал свою дорожную одежду, очевидно, предупредительно принесенную лакеем, и, с наслаждением скинув с себя тесный фрак, переделся в прежний немодный, но спокойный и удобный кафтан, не без удовольствия сдернул парик, погладил коротко остриженную, вспотевшую голову и в своем обычном одеянии сразу почувствовал себя бодрее. Расположение духа заметно улучшилось.

Быть может, немалую роль в улучшении настроения Кисельникова играло и то обстоятельство, что он чувствовал себя укрытым от зорких взглядов светских щеголей и мог стать снова самим собой, а не исполнять роль куклы, которую заставляют делать то, что вздумается ее обладателю. Он прошелся раз-другой по длинному ряду комнат, поглядел в окно на полную движения улицу и зевнул: становилось нестерпимо скучно. Делать было решительно нечего, а громкий, протяжный храп Михайлыча навевал дремоту.

Мелькнул вопрос: как убить время? Лечь спать было слишком рано, читать – нечего; правда, Кисельников нашел завалившуюся книжонку, но она оказалась французской, а Александр Васильевич знал этот язык далеко не в совершенстве. А скука томила.

«Пойти, разве, побродить одному?»

Эта мысль улыбнулась Кисельникову. Теперь, в своем привычном костюме, он уже не боялся, что станет стесняться прохожих, ему не надо было заботиться о том, так ли он держит руки, достаточно ли ловко вынет платок; он мог идти своей обычной, вразвалку, походкой и знать, что ничей взгляд не будет осуждать неграциозность.

«В самом деле пойти пройтись. Что здесь-то делать?» – решил он, взяв свою дорожную шляпу, напялил ее на голову как попало и вышел из дома, посвистывая.

Юноша шел не спеша, останавливался перед окнами магазинов, любясь выставленными заморскими диковинками, приглядывался к городу. Ему довелось ранее повидать проездом Москву с ее Кремлем, старинными церквами, старинными же барскими палатами. Все там было солидно, прочно, сложено веками и на многие грядущие века. После нее Петербург того времени производил впечатление чего-то скороспелого, недоделанного: там и сям высались великолепные здания, но бок о бок с ними располагались пустыри или ютились жалкие домишки, по-видимому, сколоченные на скорую руку. Даже лучшая улица – Невский проспект, – которой Петербург гордился, оставляла желать много лучшего: достаточно сказать, что от Полицейского моста до Адмиралтейства нынешний Невский был застроен дрянными, покосившимися домишками, да и дальше, по направлению к лавре, каменные дома в изобилии чередовались с деревянными.

Что действительно понравилось Кисельникову в Петербурге, так это Нева. Вышел он на набережную, облокотился на перила и залюбовался. Царственная река текла величаво-спокойная, красным зелотом сверкая в лучах заходящего солнца; там и сям сновали лодки, медленно скользили суда, белея парусами, чуть надуваемыми легким ветром.

Кисельников стоял у перевоза. Внизу, на плоту, какой-то высокий человек лет сорока, одетый в потертый кафтан и старенькую шапку, видимо, горячась, махал руками лодочнику, призывая его с того берега приехать за ним. Вдруг махавший круто повернулся в сторону и словно замер. На его умном, несколько одутловатом лице, отразилась тревога.

– Ай, грех! – воскликнул он, всплеснув руками. – Лодочник! Лодочник! Ведь потонут, ей-Богу!

Александр Васильевич невольно взглянул в том направлении, куда смотрел кричавший, и тоже на мгновение остолбенел: вниз по течению несло перевернутую лодку. Несколько человек барахтались в воде, плывя в разные стороны; какой-то совсем юный парень силился поддержать на воде захлебывавшуюся девушку, во, видимо, изнемогал; ее мертвенно-бледное лицо было прекрасно, как лицо мраморной богини, в широко раскрытых глазах застыл смертельный ужас. Наверняка они должны были погибнуть.

– Лодочник! – продолжал вопить человек на плоту.

– По... мо... гите! – хрипло крикнул парень.

Не отдавая себе ясного отчета, в стремительном порыве сердца Александр Васильевич сбежал на плот, сбросил кафтан, перекрестился, кинулся в воду и поплыл навстречу утопавшим.

Все это было делом одного мгновения. Стоявший на плоту потертый господин, звавший лодочника, сперва ахнул, потом, наблюдая, как Кисельников широкими, смелыми взмахами рассекал воду, прошептал с видимым удовольствием:

– А этот молодец спасет их!

На набережной тут же столпились прохожие, привлеченные происшествием. Невдалеке послышались гулкий конский топот и шум нескольких экипажей. Головы быстро обнажились, по толпе сдержанно пронеслось:

– Государыня!

V

В одной из ближайших к Неве линий Васильевского острова, в небольшом деревянном доме ютилась убогая лавочка; старая, заржавленная вывеска над ней гласила: «Позументный мастер Маркиан Прохоров». В описываемый день дверь лавочки была наглухо закрыта, а из распахнутых окон, заставленных горшками с чахлой геранью и бальзаминами, и из прилегавшего к дому маленького сада доносились на улицу шум голосов, восклицания, звон стаканов и хлопанье откупориваемых бутылок: хозяин лавочки справлял свои именины.

Сам виновник торжества, мужчина лет за пятьдесят, с добродушным красноватым лицом, обрамленным жидкой темно-русой с сильной проседью бородой, разодетый по-праздничному в ярко-алую шелковую рубашку и, поверх ее, в кафтан тонкого сукна, сидел в саду среди приятелей. На круглом столе, состоявшем из дощатого щита (прикрытого в данный момент пестрой скатертью), прикрепленного к врытому в землю столбику, красовались пухлые пироги, жареные куры, соленая разнообразная рыба и иная разнородная снедь; среди яств высились бутылки разных фасонов и основательные графины с водкой и наливками разных сортов.

Хозяин усердно угощал; сам он пил мало, но все же его крохотные глазки уже несколько посоловели. Приятели, составлявшие его компанию, были все людьми солидными: двое хозяев-сапожников, старший подмастерье голландского бриллианщика, несколько товарищей по профессии именинника, имевших свои заведения, подобные прохоровскому, один гробовщик и несколько купчиков средней руки.

В доме, под председательством хозяйки, Анны Ермиловны, расположились разнаряженные жены гостей, угощаясь сластями, налегая на наливки и бойко судача о своих знакомках и знакомых.

Молодежь разбрелась и по дому, и по саду мелкими группами, а то и парочками, за которыми зорко наблюдали всевидящие очи мамаш.

Было немало миловидных девушек, но среди них более всех выделялась хозяйская дочь Маша. Среднего роста, стройная, с прекрасным цветом лица, с золотистой косой, дивным профилем и задумчиво-мечтательным взглядом темно-голубых глаз, она казалась красавицей, которой под стать было блистать на придворных балах, а не проводить монотонную и унылую жизнь в более чем скромной лавке позументщика. Подобные красавицы, выдаваясь своей наружностью из среды окружающих, видя всеобщее преклонение и похвалы их красоте, начинают страдать самомнением, смотреть на всех свысока и превращаться в бездушные и пустые существа. К счастью, Маше еще не успели напеть достаточно о ее счастливой наружности, и она, не придавая ей никакого значения, оставалась простой, милой и доброй девушкой.

Однако была пара глаз, в которых девушка слишком часто подмечала нескрываемое восхищение, когда они устремлялись на нее, и которые заставляли ее ярко вспыхивать, а порой недовольно сдвигать брови и надувать губки. Но в глубине души она сознавала, что встречается с этими глазами не без удовольствия и что сверкающий в них огонек заставляет ее странно и сладко волноваться. Их обладатель не раз грезился ей во сне, и подобные сновидения она не считала неприятными.

Эти глаза принадлежали очень маленькому, в смысле общественного положения, человеку, мещанину Илье Сидорову, получившему от товарищей почему-то прозвище Жгут. Он был старшим подмастерьем Маркиана Прохорова; про него говорили даже, что он – правая рука хозяина. Илье было лет двадцать с небольшим, и добиться в столь юном возрасте почетного звания старшего подмастерья помогло ему знание позументного дела, которому он обучился легко и скоро и в котором, по выражению приятелей, собаку съел. Прохоров ценил его и дорожил им, тем более что Сидоров был не крестьянин, а мещанин, следовательно, человек

вольный и, при своем знании, легко мог бы найти работу у любого из конкурентов почтенного Маркиана Прохорова, а их было в столице немало.

Илья был недурной наружности. Среднего роста, стройный, с чистым лицом, на котором еще не пробились усы, с живым взглядом серых глаз и румянцем во всю щеку, он производил хорошее впечатление; к этому надо добавить, что он был весельчак, краснбай и изрядный грамотей. Девушки на него посматривали весьма и весьма охотно, но сам он смотрел только на хозяйскую дочку.

В трех различных по возрасту, а отчасти и по общественному положению, группах, на которые разделилось собравшееся у именинника общество, конечно, велись совершенно различные разговоры.

– Нет, ты не скажи, Захар Кузьмич, – говорил хозяин, наливая осанистому купчику объемистый стакан пива. – Хотя ты человек почтенный, а об этом толковать изволишь неправильно. К примеру, возьмем я. Что я есть за человек? Оброчный крепостной князя Семена Семеновича Дудышкина. Однако живу. Барин в конной гвардии служит, и видал я его, дай Бог, десяток раз. Все дела у управляющего, а с ним я в ладах. Приедет за obroком, я его честь-честью угощу, obрок заплачу – и снова вольный на целый год человек. И никто меня не тронет, и живу себе помаленьку, и Бога благодарю. Порой, ей-ей, забудешь, что и крепостной. Ты говоришь, выкупиться надо бы. Да зачем мне зря деньги кидать, если и так ладно живется? К тому же и денег лишних нет, все в деле.

– А все же ты – не то, что вольный, – стоял на своем купчик. – А вдруг барину твоему дурь придет: «Не хочу Маркиана Прохорова на obroке держать, посадить его на землю!». Что тогда скажешь? Изволь на старости лет за сохой ходить, и ничего не поделаешь.

– Никогда этого быть не может! – мотая головой, воскликнул именинник. – Барин тоже свою выгоду блюдет: на барщине я что за работник, а obroк плачу чистоганчиком.

– А не заплатишь ему разок-другой, вот он тебе и покажет.

– Зачем не платить? Надо платить.

– Да ведь мало ли что может быть? Во всем Бог волен. Болезнь приключиться может или мало ли что...

– Тьфу, тьфу! – заплевался хозяин хмурясь и свел разговор на другую тему.

Разговоры хозяйки дома касались иной почвы.

– Который годок Машеньке-то? – спросила старуха в пестром платке.

– К Покрову семнадцатый пойдет, – ответила Анна Ермиловна, тучная женщина, с водяным, нездоровым, дряблым лицом и бесцветными, ничего не выражающими глазами.

– Бежит время. Пора и о женишке подумывать.

– Ныне женихи-то все одна шишь-голь, – со вздохом промолвила хозяйка.

– Ну, есть разные. Не все же, – вмешалась в разговор дебелая жена гробовщика и посмотрела в ту сторону, где громко хохотал ее долговязый сын с веснушчатым лицом.

– Ныне все на приданое зарятся, – стонала хозяйка.

– Так ведь у вас достаточек есть, – испытывала гробовщица.

– Живем со дня на день, с голоду не умираем. А приданого за Машей – вот эта лавка, когда, не дай Бог, Маркиан помрет.

– Так, – протянула собеседница и снова, но уже с некоторой строгостью, посмотрела на сына, который слишком часто и слишком пристально поглядывал на бесприданницу – дочь позументщика.

– Скажу я вам: и достаток от Бога, и недостаток от Бога. И, как Он, милосердный, захочет, так и содеется. Иной бедняк стонет, жалуется, глядь – привалило счастье, тысячником стал. А богатеи разоряются. Все от Бога, – прошамкала старушонка в полумонашеском наряде, пользовавшаяся большим уважением за свое благочестие.

Старшие вели или старались вести серьезные разговоры, чтобы не уронить своей солидности. Молодежь об этом мало заботилась. Среди нее царило непринужденное веселье, и молодой смех звонко раздавался по дому и по саду.

– Господа! Давайте в горелки, – предложил кто-то.

– Где, здесь? Места мало, – возразил Илья. – Вот здесь в уголочке махнем «дид-ладо».

Толпа юношей в ярких рубахах и девушек, пестревших платьями, разделилась на две группы, и по саду разнеслось и вынеслось на улицу громкое: «А мы просо сеяли, се-я-ли. Ой, дид-ладо, сеяли, се-я-ли!». И задорный ответ: «А мы просо вытопчем, вытопчем. Ой, дид-ладо, вытопчем, вытопчем!». Затем следовало утешительное: «А нашего полку прибыло, прибыло».

Вскоре молодежь утомилась монотонной игрой и, рассеявшись на доске-качалке, принялась грызть орехи, обмениваясь шутками и подтрунивая друг над другом.

– Скучновато сегодня у нас, – сказала Маша сидевшему рядом с ней Сидорову.

– Придумать что-нибудь? Я уж и то подумывал, да не знаю, что бы такое. А знаете, Марья Маркиановна, ежели бы на лодке покататься? – И, не дожидаясь ее ответа, говоривший тотчас же во всеуслышание предложил: – Господа! Кто хочет на лодке кататься? Погодка-то – благодать.

Часть охотно откликнулась, часть отказалась.

– Так, кто хочет, пойдемте. Марья Маркиановна, уж вы извольте с нами! – воскликнул Илья.

– Не знаю, позволят ли тятенька и маменька, – отозвалась хозяйская дочь.

– Мы упросим! – сказали разом несколько голосов. Через минуту Маркиана Прохоровича окружила гурьба молодых людей, наперерыв просивших за Машу.

Старик махал рукой и с добродушной улыбкой повторял, желая отделаться:

– Я ничего... Как мать. К ней идите, ее просите. Отпустит – ну и ладно.

Молодежь отправилась упрашивать Анну Ермиловну. С нею переговоры были труднее. Старуха уперлась на одном: а вдруг что-нибудь приключится? Ей, конечно, наперерыв доказывали, что приключиться ничего не может, что плавание в такой дивный день совершенно безопасно, что катание на лодочке в такую благодатную погоду всем доставит большое удовольствие. Анна Ермиловна внимательно и, казалось, сочувственно выслушивала, а потом вновь раздражалась стереотипным вопросом: «А ежели что приключится?». Дебаты возобновлялись снова. Наконец на помощь просившим пришли, во-первых, огорченное личико Маши, а, во-вторых, поддержка одной из солидных матрон:

– Да пусти ты их, Анна Ермиловна, в самом-то деле.

Старуха сдалась, но перед этим прочла целое наставление, как нужно себя вести на лодке, много трактовала, как необходима осторожность, и так далее.

Молодежь кивала головами и с нетерпением ждала, когда почтенная жена позументного мастера закончит свое словоизлияние.

Спустя четверть часа, компания с веселым смехом и боязливymi взвизгиваниями девушек усаживалась в лодки.

У Прохорова была своя небольшая лодка. В нее сели Сидоров, двое его приятелей, Маша и одна ее подруга. Остальная часть желающих покататься наняла за алтын у лодочника большой катер.

Затем, как и часто бывает, возникло разногласие. Илья и сидевшие в лодочке хотели подняться вверх по Неве, чтобы назад, когда руки притомятся грести, легче было возвращаться, пользуясь течением. Находившиеся в катере протестовали против этого и настаивали, что в такую погоду лучше всего выплыть на взморье. Ни та, ни другая сторона не хотели уступить, и наконец обе лодки разъехались в разные стороны и вскоре потеряли одна другую из виду. Катер, подгоняемый течением и несколькими парами весел, быстро умчался, лодочка Прохорова, рулем которой правила Машенька, грузно поползла вверх по реке.

Подруга Маши, веснушчатая, белобрысая, некрасивая Дуня, беспрестанно взвизгивала и ахала с поддельным испугом; двое кавалеров сидели на веслах и лихо работали ими, а Илья, прихвативший в путь балалайку, ударил по струнам и запел, посматривая на Машу, песню о белой лебедушке.

У юной Прохоровой глаза блестели и щеки разгорелись. Было что-то ухарское в выражении ее лица.

– Захар Иванович! – сказала она одному из гребцов, худощавому, хилому малому. – Вы устали. Дайте-ка я за вас погребу... Я умею. А вы, Ильюша, играйте, – добавила она, видя, что Сидоров намерен, кажется, протестовать.

Гребец, к которому обратилась девушка, отер рукавом пот со лба и, по-видимому, не без удовольствия отозвался:

– Ежели вам, Марья Маркиановна, желательно, то...

Он выпустил весла, встал и, балансируя, пошел к корме, кривя рот несколько испуганной улыбкой и косясь на темную зыбь реки. Переступая через скамью, он сильно качнулся.

– Осторожнее! – крикнул с тревогой Илья.

Захар Иванович как-то неестественно мотнулся в одну, в другую сторону. Лодка закачалась и вдруг накренилась.

Девушки вскрикнули. Сидоров привстал и тем еще больше нарушил равновесие.

Раздались отчаянный крик, всплеск, и вслед за тем Захар Иванович, а за ним и все сидевшие очутились в воде около перевернутой лодки.

Все это было делом одного мгновения.

Илья Сидоров, вынырнув после падения в воду на поверхность реки, увидел Дуню и Захара Ивановича, уцепившихся за киль судна и неистово кричавших; другой из приятелей-гребцов отчаянно барахтался, сиюсь ухватиться за лодку, а дальше, в нескольких аршинах от себя, Сидоров заметил искаженное ужасом, то показывавшееся из воды, то скрывающееся под нею лицо Маши. Илья умел плавать, и первым его движением было броситься на помощь утопавшей любимой девушке. Он подплыл к ней, чтобы взять за руку, но она сама судорожно ухватилась за его плечи. Маша плохо сознавала, что происходит. Как сквозь туман видела она блестящую белую пену, чувствовала, что захлебывается, что словно сжимают грудь какие-то холодные, упругие объятия.

Сидоров поплыл к берегу. Пальцы Маши как тисками сжимали ему горло. Он задыхался, изнемогал, напрягал все силы, но вскоре почувствовал страшную, свинцовую усталость.

«Конец... Смерть... Машенька», – смутно пронеслось в его голове.

Мелькнул в помутившихся глазах клочок темно-голубого неба; где-то, казалось, далеко-далеко темнели фигуры движущихся, что-то кричавших людей. Потом все закрыла волна. Илья глотнул воды раз-другой. В остатках сознания мучительно отозвалось:

– Тонем!..

И вдруг сильным толчок. И снова воздух, свет, солнце. Кто-то куда-то влечет. Все громче говор толпы.

Радостно дрогнуло сердце Сидорова: «Спасены!». Руки Маши более не сжимают его горла. Илья видит ее голову с распустившимися золотистыми волосами высоко над водой и рядом с ней мужественное, юное, прекрасное мужское лицо. Грудь Ильи дышит легко и глубоко; он снова может держаться на воде и плыть.

* * *

Спасителем Маши был Кисельников. Он быстро подплыл к утопавшим, сильным толчком выкинул тонувших на поверхность реки, оторвал руки Маши от горла Ильи и, поддерживая

одной рукой ее и подталкивая Сидорова, поплыл к берегу. Через минуту он был уже у плота, откуда протянулось много рук, чтобы помочь выбраться из воды.

У опрокинутой лодки уже хлопотали лодочники: все участники катания были спасены, отделавшись только купанием, которое, однако, по крайней мере Илье и Маше, могло стоить жизни, не поспей вовремя Кисельников.

Маша была без чувств; над нею принялся хлопотать быстро оправившийся Сидоров.

– Молодчинище! – хлопнув по плечу Кисельникова, надевавшего кафтан, воскликнул тот самый мужчина, которого Александр Васильевич видел ранее на плоту и который звал лодочника. – Молодчинище! Дайте пожать вашу руку, а Александр Петрович Сумароков не многим сие с охотой делает.

Сумароков! Юный провинциал хорошо знал это имя, молва о нем достигла и до медвежьих углов: лучший (или, по крайней мере, считавшийся таковым) русский писатель.

Кисельников с восхищением смотрел на красивое, несколько надменное лицо автора «Хорева» и, крепко пожимая ему руку, растерянno и восторженно повторял:

– Господин Сумароков... Тот... Помилуйте! Наслышан!

Событиям дня для Александра Васильевича еще не суждено было окончиться на этой встрече. На мостках, ведущих к плоту, появился осанистый господин с генеральским плюмажем на шляпе. Он подошел к Кисельникову и с важной ласковостью проговорил:

– Иди-ка со мной, любезный: государыне императрице благоугодно тебя видеть.

– Как? – переспросил провинциал, оторопев.

– Иди, иди со мной, – вместо ответа сказал генерал и стал подниматься по мосткам на набережную.

Александр Васильевич следовал за ним, как в тумане. Он был подавлен, ошеломлен.

Государыня, прибывшая в этот день в город из своей летней резиденции, увидев на набережной скопище народа, приказала остановиться и поинтересовалась, что привлекло толпу. Вскоре и без объяснений она поняла, в чем дело. На глазах императрицы Кисельников бросился в воду и вытащил утопающих Машу и Илью.

– Надо взглянуть на этого молодца. Позовите его ко мне, – приказала государыня сопровождавшему ей генерал-адъютанту.

Приказание было, конечно, исполнено без замедления.

Машинально шагая за генералом, Кисельников, как во сне, различил шестерку чудных коней и легкую английскую коляску, из которой с любопытством смотрели на него несколько пар глаз. Генерал подвел его к экипажу и проговорил:

– Вот он, ваше величество.

Словно что-то подтолкнуло Александра Васильевича, и он низко поклонился, а потом стал у коляски с каким-то виноватым видом, боясь поднять глаза, не зная, куда деть руки. Одежда его, кроме кафтана, была мокра, на лице еще не высохли капли, с волос на плечи стекали струйки воды. Иной мог бы произвести в таком виде жалкое впечатление, но юный провинциал, при всем своем смущении и растерянности, не казался жалким: стройный, с красивым, мужественным лицом, на котором горел яркий румянец, пробивавшийся сквозь загорелую кожу, он был даже хорош.

– Кто ты такой? – раздался над ним мягкий, звучный женский голос.

Александр Васильевич поднял голову и встретился с ласковым взглядом прекрасных глаз. Звук этого голоса и этот взгляд влили что-то бодрящее в душу юноши. Робость как рукой сняло. Он выпрямился и, смело и доверчиво смотря на царицу, ответил:

– Елизаветградского помещика, отставного капитана, Василия Ивановича Кисельникова сын, Александр Кисельников, ваше величество.

– Григорий Григорьевич! – обратилась государыня к сидевшему против нее богатырю-красавцу, графу Орлову. – Ты запиши, как его звать, да при случае напости мне. А как ты к нам в Питер попал? – снова обратилась императрица к Александру Васильевичу.

– Для поступления на службу в войска вашего императорского величества, – бойко ответил тот. – Сегодня только что приехал.

– Рада, когда поступают на службу такие молодцы, – с ласковой улыбкой промолвила Екатерина II. – Побольше бы мне таких. Я видела, как ты спасал. Понадобится что, проси: я тебя не забуду.

Величаво, ласковым наклоном головы великая царица дала понять, что аудиенция окончена. Кони тронулись, и царский поезд быстро скрылся в облаке пыли. А Александр Васильевич стоял недвижно, смотрел вслед и казалось ему, что все еще глядят и проникают в душу светлые, как звезды, царицыны очи.

Юношу окружила шумная толпа.

– Вот честь какая: с самой нашей матушкой царицей удостоился беседовать!

– Что изволили их величество вас спрашивать?

От волнения молодой провинциал плохо слышал, что ему говорили, и отвечал рассеянно, односложно. Из толпы выбрались к нему Маша и Илья.

– Вот кто нас вытащил. Без него лежать бы нам теперь на дне, – сказал Сидоров хозяйской дочке, указывая на Кисельникова, а потом обратился к нему: – Господин! Дозвольте спросить ваше имечко, чтобы знать, за кого нам вечно Богу молиться?

Александр Васильевич назвал себя.

– Уж тятенька и маменька-то их будут рады, что дочка спаслась! А всё вы. Уж сделайте, господин, милость, скажите, где изволите проживать: люди мы маленькие, а все же когда-нибудь, может, чем и пригодимся, отблагодарим.

– Что за благодарности? – пробормотал несколько конфузившийся от этих излияний Кисельников, но все-таки сказал адрес, чтобы поскорее отделаться.

Его рассеянный взгляд, скользя по окружающим лицам, пал на Марию Маркиановну и невольно остановился на ней. С разметавшимися, просыхающими золотистыми волосами, взволнованная, с бледным личиком, на котором вновь начинал загораться румянец, Маша казалась прелестной. Сильно ослабевшая, она тяжело опиралась на плечо Ильи; ее головка была опущена, а взгляд больших глаз застенчиво и вместе с тем пылливо смотрел на Александра Васильевича.

«Экая красоточка!» – невольно подумал юноша.

А в глазах Маши начали мелькать странные искорки, которых, верно, не довелось подметить в них Сидорову.

Все происшедшее – спасение утопавших, встреча с Сумароковым, неожиданное представление государыне императрице, наконец выражение благодарности спасенных – разыгралось в продолжение какой-нибудь четверти часа; пережив в столь короткое время столько разнообразных впечатлений, Кисельников почувствовал себя очень утомленным. Поэтому он поспешил распрощаться с Прохоровой и Сидоровым и, не без труда выбравшись из толпы, глазевшей на него, как на какую-то диковину, нанял первого встречного извозчика, а затем не без удовольствия покотил в свои апартаменты в дом Лавишева.

Михайлыча он застал уже бодрствующим. Старик избегал смотреть ему в глаза и виновато улыбался.

– Дай-ка мне поскорей переодеться, – приказал Александр Васильевич.

Дядька, заметив влажные полосы на одежде своего питомца, дотронулся до него и ахнул:

– Батюшки светы! Камзол-то хоть выжимай! Да ты что, купался в нем, что ли, Александр Васильевич?

– Купался и есть! – смеясь, воскликнул тот.

Ему хотелось поделиться с кем-нибудь пережитыми впечатлениями; он не утерпел и рассказал все Михайлычу.

Старик ахал и удивлялся, а когда узнал о разговоре Кисельникова с императрицей, похлопал его по плечу и с восхищенной улыбкой заметил:

– Теперь не только в гвардию попадешь, а генералом будешь!

Александр Васильевич расхохотался, потом сказал:

– А пока я не генерал, напои-ка меня чайком, да я и спать завалюсь: устал очень.

– Это мы живой рукой. Однако и голова болит!

Михайлыч очень поспешно и с видимым удовольствием отправился на кухню. Обещанное «живой рукой» продолжалось настолько значительное время, что, когда он пришел, неся чайники с кипятком и чаем, Александр Васильевич, прикорнувший на устроенном ему заблаговременно дядькой ложе, спал крепким сном сильно уставшего человека.

Между тем Дуня, Захар Иванович и их третий спутник по несчастной и могущей стать роковой прогулке на лодке были подобраны подоспевшими лодочниками и высажены на Васильевский остров, а не на городскую сторону. Поэтому очень естественно, что они достигли жилища почтенного позументщика значительно раньше, чем Маша и Илья.

Своим появлением в доме Прохорова они произвели целый переполох. Захар Иванович, бледный, промокший, сразу всех огорошил как своим видом, так и заявлением: «Несчастье!». Анна Ермиловна дико завопила: «Где Машенька?». А когда в ответ раздалось очень неопределенное: «Кажется, спаслась. Лодочники говорили, вытащил ее и Илью какой-то господин», почтенная супруга позументного мастера стала жалобно причитать, мешая излияния скорби с упреками по адресу мужа, который провинился, отпустив Машу кататься.

– Чуюло мое сердце, ох, чуюло! Не хотела я отпускать! Все вот этот ирод!

А «ирод» метался, не зная, что делать. То он пытался утешить жену, то сам начинал хныкать, и товарищам приходилось уговаривать уже его:

– погоди плакать-то: верно, спаслись.

– Надо поехать да разузнать, – сказал старик, не вставая, однако, с места: быть может, потому, что боялся узнать страшную истину.

После такого сумбура появление Ильи и Маши здоровыми и невредимыми вызвало целую бурю радости. Отец и мать целовали дочку так, как не доводилось и в день ее именин, зато на Сидорова сильно негодовали.

– С тобою ее отпустили, и чуть она не утонула.

– При чем тут я? Вините Захара Ивановича! – стал оправдываться Жгут, но, видя, что доводы не помогают, сердито плюнул и ушел домой переодеваться.

Маша, облекшись в сухое платье, десятки раз должна была передавать рассказ о своем спасении и о господине, который спас ее и удостоился разговора с государыней.

– Надобно завтра непременно сходить поблагодарить его милость, – решил Маркиан Прохорович.

Ночью Маша спала беспокойно, и во сне ей грезился «тот господин», причем представлялся ей почему-то в виде не то сказочного богатыря, не то красавца королевича. Утром она была молчалива, задумчива, и взгляд ее мечтательно устремлялся в пространство.

С Ильей она говорила сухо.

VI

В то время как разыгрывались происшествия с Кисельниковым, Николай Андреевич Свияжский шел по одной из довольно глухих улиц Петербургской стороны. По бокам улицы тянулись заборы, изредка прерываемые маленькими домишками, окруженными палисадниками, или не огороженными, поросшими травой пустырями, на которых мирно паслись коровы. Несмотря на июльскую жару, уличная грязь не успела просохнуть, ноги тонули в ней. Здесь не было ничего, что напоминало бы, столицу, эта часть города была под стать любому из захолустнейших провинциальных городов.

Не желая вязнуть в грязи, молодой человек должен был идти медленно, выбирая места посуше. На его лице выражалось нетерпение, и он то и дело поглядывал в даль извилистой улицы.

Наконец из-за бесконечного забора обширного огорода вынырнул маленький, серый, одноэтажный дом с большими зелеными ставнями, полуприкрытый сильно разросшимися в палисаднике акацией и рябиной. К дому примыкал двор с накренившимися воротами и узкою, маленькою калиткою, жалобно заскрипевшею, когда Свияжский открыл ее, входя во двор, заваленный всяким хламом, начиная от груд битого кирпича и кончая кучами ржавого железа и ящиками с осколками стекол; было очевидно, что этот хлам намеренно собирался и каким-нибудь образом утилизировался.

Во двор выходило покосившееся крыльцо под деревянной некрашеной крышей, на которой там и сям проступал ярко-зеленый мох.

Юный офицер поднялся по скрипучим ступеням и вошел в темные сени. Когда он поднимался на крыльцо, в маленьком оконце мелькнуло красноватое мужское лицо, выразившее явное неудовольствие, когда взгляд заплывших глаз упал на Свияжского. Тем не менее через минуту в сенях послышался зычный голос обладателя этой физиономии, весело говоривший:

– А, ваше благородие, Николай Андреевич! Спасибо, что нас ее забываете. Очень рады, очень рады!

В доме жил и владел им купец Федор Антипович Вострухин, по занятию огородник, однако, кроме того, мастер на все руки, умевший, кажется, даже из сора извлекать рубли и алтыны. Вострухин поставлял для нужд армии капусту и всякие овощи. Отец Николая Андреевича, умевший добывать себе тепленькие места, был приемщиком этих поставок, и Федор Антипович не мог пожаловаться, чтобы старик придирался к нему: дело шло дружно, гладко, как по маслу. И хотя солдатам доводилось зачастую хлебать щи из прогнившей капусты, а порой кое-кто из лиц, контролировавших поставки, называл цены на продукты чересчур высокими, им все сходило с рук: купец и его превосходительство были опытны и работали умело, стойко поддерживая друг друга, когда требовалось, в критические моменты.

Старый Свияжский, начавший свою карьеру гвардейским офицером, вскоре предпочел военной службе штатскую, пристроившись в «хлебном» ведомстве по снабжению войск всем необходимым; эту деятельность он считал очень выгодной. Постепенно Свияжский нахватал еще разных небездоходных местишек, но, когда капитал его округлился достаточно и бремя лет дало себя знать, он почувствовал утомление. Его заветным желанием было оставить часть своих дел сыну, чтобы и самому жить поспокойнее, да и доходов не упустить. Охотнее всего он готов был передать ему свои дела с Вострухиным, как наименее рискованные для начинающего.

Федор Антипович знал об этом намерении Андрея Григорьевича и при мысли о том, что оно осуществится, ощущал холод в сердце.

«Этот – не старик. Сладь-ка с ним! При нем, можно сказать, закрывай лавочку».

К его великому удовольствию, Николай Андреевич наотрез отказывался исполнить желание отца. Однако Вострухин окончательно не успокаивался.

«Не враг же он себе: поживет, поглядит, надоест сабелькой-то махать, ну и возьмется». На этот случай он старался ухаживать за молодым Свияжским.

Николай Андреевич хорошо знал о проделках своего отца и Вострухина, не любил последнего и про себя называл не иначе как жуликом, но довольно часто приходил к нему: в покосившемся доме купца была приманка в лице дочери Вострухина, Дуни.

– Милости просим! Милости просим! Пожалуйста, – сказал с низким поклоном хозяин, пропуская гостя из сеней в комнату с некрашеным полом и почерневшим потолком, вся обстановка которой состояла из сосновых, чуть тронутых красной краской стульев и такого же стола. Ее украшали только иконы, занимавшие передний угол и блиставшие дорогими окладами.

Было неуютно, неприглядно. На столе, покрытом запятнанной скатертью, лежали куски хлеба, стояла тарелка с квашеной капустой, несколько деревянных ложек, глиняные чашки и кружки, высился жбан с квасом.

– Жена, принимай дорогого гостя! – крикнул Вострухин со сладчайшей улыбкой на жирном, потном, красном лице.

Хозяйка, маленькая, морщинистая женщина, забитая мужем, торопливо поднялась и, часто мигая подслеповатыми глазами, в которых навечно застыл страх, стала низко кланяться гостю, приговаривая:

– Мы так рады... Милости просим...

Кроме хозяйки, Манефы Ильинишны, в комнате сидели сын Вострухина Сергей и какой-то незнакомый Свияжскому старик, в долгополом темном кафтане, напоминавшем монашеский подрясник, сухой, с изможденным лицом, длинными, нерасчесанными, падавшими до плеч волосами с сильной проседью и жидкой козлиной бородкой.

Молодой Вострухин, сидевший у стола, подперев руками голову, при входе Николая Андреевича встал, молча поклонился и снова сел. Он был страшно худ, смотрел исподлобья угрюмым взглядом сильно запавших и лихорадочно блестящих глаз; было что-то жесткое и аскетическое в выражении его лица, казавшегося восковым.

Свияжский, зная, что Сергей ездил в Москву по каким-то отцовским делам, сказал:

– Вот не ожидал встретить вас! Давно ли вернулись?

– Сегодня, – коротко ответил Сергей, не повернув головы.

– Да, да, – подхватил его отец. – Порадовал сегодня: приехал и благочестивого странника Никандра привез с собой. Может, изволили слышать? Садитесь, сделайте милость, пожалуйста. Вот стульчик поудобней. В добром ли здравии? В добром? Ну слава Богу, слава Богу. Как папенька, здоровеньки? Чем угостить позволите? Может, наливочки разрешите?

– Ой, нет! – запротестовал Николай Андреевич, присев к столу. – Только что ел и пил. Пошел прогуляться, да и надумал к вам заглянуть. Частенько я теперь к вам заглядываю, – добавил он со смущенной улыбкой.

– И хорошо, всегда вам рады. А мы вот кваском балуемся да душепользительную беседу с отцом Никандром ведем. Много отец Никандр нам диковинного рассказали: и об афонских обителях, и о граде Иерусалиме. Да.

Вострухин замолчал, видимо подыскивая, что бы сказать.

Молодой офицер чувствовал, что своим присутствием стесняет всех, и от этого сознания сам стеснялся. Однако уходить по некоторым, ему лишь известным, причинам не хотел пока. Он силился найти тему для разговора, но беседа шла вяло и часто прерывалась большими паузами, во время которых Федор Антипович барабанил пальцами по столу и, сделав задумчивое лицо, приговаривал:

– Н-да... Так-то.

– А пестра ныне вера стала, страсть пестра, – вдруг заговорил отец Никандр. – Взять хотя бы московские соборы. Благолепие, что говорить, а истинного благочестия нет. Служат скороговоркой, слова выкидывают. А неужели это можно? Истинная-то вера у немногих числом

старцев хранится. Таятся они в смиренственном уединении, потому обмириться не хотят, и пестрота им претит. А взять хотя бы табакокурство, – продолжал он после короткого молчания, косясь в сторону Свяжского, от которого сильно пахло табаком. – Ныне все курят! Либо нюхают. Попы и те стали табачищем заниматься. К иному подойти нельзя: за версту проклятой травой смердит. А разве это хорошо? В старые годы за табак носы резали...

Николай Андреевич слушал рассеянно. Ему становилось тоскливо.

«Где же Дуня? Неужели дома нет? Тогда чего и сидеть? – думал он и вдруг радостно встрепенулся: через открытое, выходящее в палисадник окно он увидел мелькнувшую среди зелени листвы темно-русую головку. – Вот где она!»

– Знаете, Федор Антипович, что-то душно, – быстро встал он. – Я ведь вышел, чтобы воздухом подышать. Пойду-ка я, поброжу у вас по садику.

– Что же, пойдемте, – промолвил старший Вострухин, нехотя вставая.

– Нет, – быстро перебил его офицер. – Я пойду один. Вы беседуйте. Мне, право, будет крайне неприятно, если я оторву кого-нибудь от занимательной беседы. Зачем я буду вас стеснять? Мы так давно знакомы, что можно и отложить ненужные церемонии. По вашему садику приятно походить. Зелень, знаете, ну и вообще... А вы беседуйте... Я похожу, подышу воздухом...

Отец и сын Вострухины переглянулись. Восковое лицо Сергея словно потемнело.

– Как угодно, – хмуро проговорил Федор Антипович, стараясь не смотреть на сына.

Не исполнить желания Свяжского он не смел; о нем, как и о всех людях, он судил по себе: «После свинью подложит». Но в душе он злился, так как понимал причину внезапной прогулки Николая Андреевича. Не менее хорошо понимал он, почему юный гвардеец довольно-таки частенько стал заходить в его убогий домишко.

Свяжский торопливо вышел.

– Мать! Чего ты не позовешь Дуню? – с некоторым пренебрежением уронил Сергей, не отводя от отца своего тяжелого взгляда.

Отец вдруг вскипел:

– Молоды еще яйца кур учить! Не клич, Манефа! Знаем, что делаем.

– Больно, тятенька, вы в мир вдалились. Этак и душеньку легко погубить. Все на денежки разменяли? – проговорил сын саркастически.

– Не тебе учить. А для тебя дубинка у меня еще цела, – раздраженно ответил Федор Антипович.

– Что же, побейте. Стерплю... Бог терпел и нам велел. А вам грешно.

Лицо старого Вострухина стало темнее тучи.

– Будет вам! Сегодня только что свиделись и уж... – начала было Манефа Ильинишна.

– Нишкни! – грозно прикрикнул на нее муж, а затем, видимо, желая свести разговор на иную тему, произнес: – Так как же это ты насчет московских соборов, отец Никандр?

– Соборы-то соборами, – медленно промолвил странник, – а только этот офицерик до добра не доведет. Табашник настоящий. А тебе надо бы опаску иметь.

– И ты туда же! – сердито воскликнул Вострухин-отец. – Тебе-то как будто и не пристало. Наживи добра с мое, тогда и учи.

– Мне добра не надо. Мне потребна кружка кваса или воды да кусок хлеба, только и всего.

– То-то, чай, в кубышке и припрятано. Знаем вас, смиренников.

– У меня ни синя порохи. По обету нищенствую, – обидчиво проговорил Никандр.

– Так, так. Небось, добровольных даяний не приемлешь? – с язвительной усмешкой заметил купец.

– Приемлю для Бога... Только для Бога, – смиренно потупясь, ответил странник.

– Все деньги Божьи, что говорить. В монастыри, чай, даяния-то, жертвуешь?

– Случается. На табачище да вино не извожу.

– Да что же, отчего этому не поверить? Вот тебе и благочестивая наша беседа: на табак, вино да деньги сошла...

– А все этот сбил, принесла нелегкая, – озлобленно проговорил Сергей.

– Так ты говоришь, что вера ноне пестра стала? – снова направил старший Вострухин беседу в надлежащее русло, и странник повел надлежащую речь.

Отдельного выхода из дому в палисадник не было, а потому Николаю Андреевичу пришлось идти вкруговую; проходя дворами к калитке садика, он различил в зелени кустарников стройную фигуру молодой девушки с несколько бледным, миловидным лицом, на котором застыло выражение напряженного ожидания. Девушка услышала его шаги и обернулась. Яркий румянец вспыхнул на щеках, и лицо будто осветила улыбка. Головка радостно закивала.

– Дунечка!.. Поджидала?.. – тихо спросил Свяжский.

– Ты здесь? А я, глупая, и не знала! Давно? – спросила молодая девушка.

Они пошли по аллейке. Вид у Николая Андреевича был рассеянно-скучающий; Дуня, сорвав мимоходом ветку, нервно обмахивалась ею.

– Тише. Смотрят.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.